



Своя в полднейной перепалке,
где паровоз и соловей,
На полустанке, в полушалке,
Где вой гудков и плеск ветвей.
Где вдруг могильная ограда
с пятном бумажного цветка,
где прихотливую шарату
загадывают облака.
Где русский дух, где Русью пахнет
из продуктового ларька,
где, двери распахнув, с размаху
руке отвечает рука,
где нет намеренно часов,
чтоб без зацепок дни летели,
где автор «Алых парусов»
гуляет с автором «Шинели».
Где в золотой ныряет квас
из злой лазури солнце злое...
Там я впервые встретил вас
и стало будущим бывшее.



Разбужен серый в яблоках денек
И запряжен в осеннюю двуколку.
Босым не больно выйдешь за порог,
Стерня в полях занозиста и колка.
У перелетных до черта хлопот,
В пернатых школах дружная работа.
Все четко представляют, что их ждет,
И силы экономят для полета.
Равны в охоте смерд и дворянин.

С оружем тульским в сапогах гасконских
Некрасову Тургенев позвонил,
Заторопился к Левину Облонский.
Мы просвистели лето слегонца,
С ладони сдули, что твою пушинку.
Сидишь у нечиненого крыльца
И подгоняешь время хворостинкой.
И запоздалым дракулой искусан,
Пушистого впустив через порог,
В уме срифмуешь — чувство и искусство,
И спишь без задних и передних ног.



Когда солнце зашло и в родном муравейнике тихо,
Целой дюжиной рук обнимаются два муравья,
И навряд ли шепнет он, лаская свою муравьюху:
— Человечка моя...
И ни лань, и ни линь, ни пантера и ни ястребица,
Задыхаясь от счастья, свершая свой дивный обряд,
С человеческим чувством не смогут сравниться
Или не захотят.
Это мы с нашей нежностью в кущи эдемские входим,
И в любви все земное потворствует нам,
И во всем мы хотим подражать благотворной природе
И ее именам.



*Мне лягушку хоть сахаром облепи,
не возьму ее в рот.
И устрицу тоже не возьму, я знаю,
на что устрица похожа...*

Михайло Семенович Собакевич

Благодаря задорным азиатам
Весь мир готов сожрать живого каждый атом.
Все, что летает, ползает, жужжит,
Что, как поется, — тоже хочет жить.
Ты — созданный Творцу подобным —
стремишься видеть все вокруг съедобным.
Все хочешь затоптать решительным и грубым
французским или новорусским зубом.
Почто тебе немислимые гады,
Когда пасутся обреченные говяды,
Когда с ножом подходит Авраам
к кусту, где притчей пойманный баран?
А остальное пусть ликует и пищит,
хвост распускает, крыльями трещит!



Есть вещи долговечные —
Дорога, город, лес.
И вещи быстротечные,
Те, что летят с небес.
Летали мы, кружили мы
Без всякого «потом»,
Дождинкою, снежинкою,
Сорвавшимся листом.
Дождинкою, снежинкою...
лист вечности не ждет,
Он знает каждой жилкою,
Что осень настает
Что быть ему затоптанным —
Он к этому готов —
Бесчувственными толпами
Беспечных каблуков.
Проститься с нежным обликом,
Барахтаться в грязи...
Но он взлетал до облака
И солнце отразил.



Поэт волнуется и готовится,
Поэт торопится домой
К Жизни, милой своей любовнице,
Со строчкой, написанной о ней самой.
Этой строкою удивительною,
Думает он, к этажам возносясь,
Он спасет их уже томительную,
Уже распадающуюся связь.
Она в халатике, недокрашенная,
Ни объятий не ждет, ни духов,
И уж тем более не спрашивает
О темных строчках каких-то стихов.
Гремит на кухне кастрюльными крышками,
Покорно ждет, когда он уйдет.
И он выходит. Сразу, как с вышки,
Ласточкой, Гаршиным вписываясь в пролет.



Эта чайка с головы палача,
Целый день проводит, когти точа.
Злобно смотрит на пернатых подруг,
Все подвластно ей — считает — вокруг.
Как слилася со своим палачом,
Не мечтает о другом ни о чем.
Но из бронзовых извилин его
Не извлечь ей, не добыть ничего.
Этот голубь на поэте сидит,
Он мечтательно на площадь глядит.
Иногда слегка прилгнуть он готов,
Что причастен к появлению стихов.
И легенду про себя утвердил,
Что оmonoвцу на шлем угодил,
Потому он, дескать, всюду гоним.
Назначаются свиданья под ним.
А вот этой птице небо мало,
С Божьим ангелом крыло о крыло
Возвращает небеса небесам,
Равновесие небесным весам.
Невозможна, высока, неземна,
Безымянна, невесома, нежна.
Как прожить остаток данных мне дней,
Чтоб душою она стала моей?



На ураганы, наводнения и штормы
Мы свысока с презрением глядим!
Я думаю, народ с такой глагольной формой:
ДОВЫКОБЕНИВАЕШЬСЯ! — непобедим.

Старинный спор славян между собою

В родимом языке различий тьма!
Зачем самим нам углублять каверну?
Вам острая по вкусу шаурма,
Мне доктор запрещает есть шаверму.
У вас Билан. У нас, к примеру, Шнур.
Зачем нам это дерби, эти дебри?
Вы рухнули, споткнувшись о бордюры,
Я охнул, налетевши на поребрик.
Старинный спор и мелок и нелеп.
Дай Бог не класть нам на слова охулку!
Да мажьте вы икру на белый хлеб!
А я, коль заработаю, на булку.



Весь день от подъема наждачного
до бархатного отбоя
я занимаюсь любовью
и не умею иначе.
Я занимаюсь любовью!
Я раскрываю объятия!
Я выхожу на ловлю,
я задираю платье
облаку, улице, слову,
я от них обалдеваю,
заново, сызнова, снова
я ими овладеваю.
Силы мне хватит, ежели
буду любить всей кожей.
Ты будешь мой, проезжий,
будешь моя, прохожая.
Реки мои гранитные,
крыши мои голубинные,
звери мои беззащитные,
люди мои любимые.
Длиться и не кончатся
ласковому разбою.
Я заслужил свое счастье,
я занимаюсь любовью!



Он плыл и скакал много долгих дней
И с ветром на горьких губах
Влетал, словно ветер, в горницу к ней.
И она выдыхала «Ах!».
И запрокидывалась голова,
И гас сам собою огонь.
И все понимал, и травинку жевал
Еще не расседланный конь.
И шли вереницей денек за деньком,
И конь наедал живот,
И междометий под потолком
Кружился живой хоровод.
В заботах дневных, в забавах ночных
Ладонь находила ладонь,
И улыбался, глядя на них,
Одними глазами конь.
Но конь однажды протяжно заржал,
И дохнуло пылью дорог,
И она прижалась к нему, дрожа,
И прошептала «Ох».

Так кончился мой — о ней и о нем —
Не самый веселый рассказ.
И помни, что мы для кого-то живем
И кто-то живет для нас.

День памяти жертв Ленинградской блокады

Подземный шепот и подземный гуд,
Замерзших — гроздь.
Полгорода на кладбище везут,
Визжат полозья.
Мертв клен, мертв сад, и кот, и мышь,
Мертва собака.
Не надо плакать — говоришь.
А как не плакать?
Среди дворцов, в длину оград,
Повдоль Фонтанки,
Скрипят, скрипят, скрипят, скрипят
По снегу санки.



Вновь закат под облаками рдеет,
Затворился день.
Время отменяет не идеи,
А людей.
Люди, торопясь, уходят в землю,
В темный гроб.
А идея часа ждет и дремлет,
Как чумной микроб.
Явится стремительна, как осы,
Серое покинувши гнездо,
Незаметна и молниеносна,
Как прием дзюдо.
Сыростью дохнет в лицо пещерной,
Растворится в небе и воде,
И начнет масштабно и всемерно
Отменять людей.



Над елями неделями
Качается мороз.
Меж тем природа делает
Крапивниц и стрекоз.
В берлогах и отнорочках,
Под листьями, в дупле
Жизнь пробивает корочки,
В надышанном тепле
Стремится все использовать,
Торопится, свежа,
К нырянию и ползанию,
К полетным виражам.
Так заостряют ножики
На камне-кругляше,
Так строки дарит Боженка
Восторженной душе.



Итак, пора, мой друг, пора.
И этак нам пора. Понеже
В надежде славы и добра
Остались разве что надежды.
Мы ниже скошенной травы,
А сверху, рядом, по соседству,
Лишь всадники без головы
И без какого-нибудь сердца.
Лишь эти с хваткой деловой
И эти с выходкой неброской
Толкают пусть не к гробовой,
Но на разделочную доску.
Пора, мой друг, давно пора.
Et cetera, et cetera...

Марш

Юрию Норштейну

Он эту музыку веку под веки закапал
Так, что слезится второе столетье подряд.
Что же наделал ты, гад, капельмейстер Агапкин,
Что же наделал ты, что же наделал ты, брат?
Сколько же можно с тобою, славянка, прощаться,
Прыгать с разгону в почуявший путь грузовик?

Гладить на сгибах четвертку недолгого счастья?
Вот тебе ноша, бессонный паук-почтовик,
Ешь, сиротинка, свою подгоревшую манку,
Видишь, бумажка у мамы лежит на столе?
Мы из Листвянки, Покровки, Фонтанки, Таганки,
Мы из сгоревшего танка на черной земле.
Век оркестрован. Он из инструментов ребристых
В темных ладонях берет бесконечный разбег.
На окровавленных нотах иней лежит серебристый,
Нам же сказали — серебряный век.
И полетели цветов перелетных охапки,
И привалился к вагону потерянный Блок.
Что же наделал ты, брат, капельмейстер Агапкин,
Что же наделал ты, Бог.



Вот пожилой соловей
С целой капеллой детишек.
«Сядь, — говорит, — левой.
Пой, — говорит, — потише.
Ближе к сердцу садись,
Чтоб я услышал толком,
Вправду ли ты артист
Или так — балаболка.
Только на пару недель
Мы властелины мира,
Тоньше затачивай трель,
Легче настраивай лиру.
Серое сердце любви,
Ты и безумен и встрепан,
Ты поразишь, как Давид,
Азию и Европу
Звонкой своей пращой
И чистотою пастушьей,
Каждый будет прощен,
Кто тебя станет слушать».
Вот бы в порыве своем
Равным на тяжких ветках,
Быть бы и мне соловьем
В алых силках рассвета.
Чтобы творился мир
Выдохом, свистом, словом,
Птицами и людьми,
Дельвигом и Крыловым.



Смысловой крючок на паузе.
Словоблуден сукин сын —
говорил товарищ Маузер,
Отрабатывал часы.
Джинсы, сапоги с набойками,
бритый Бриннер, верный конь.
С прибаутками ковбойскими
говорил товарищ Кольт.
Божьих тварей раскардашивая
всех разрядов и мастей,
пел товарищ наш Калашников,
гений родины моей.
И не мною будут спрошены
набиравшие очки
за свинцовые горошины
и железные стручки.
Всю планету отоварившие,
среди живущего — ничьи.
Не мои они товарищи.
Не мои.



Смотри, как стареет сосед и его собака.
Как опухоль у нее под брюхом растет.
Как он обреченно курит. Однако
Он живет и она живет.
Старятся и меняют цвет статные клены.
Она спит под скамейкой, выпятив желтый живот.
Он растекается в воздухе, весь неживой и паленый.
И живет. И она живет.
Дом от их присутствия обретает черты барака,
Стоящего в сыром и неопрятном рву.
Они живут. Сосед и его собака.
Я их вижу. Следовательно, живу.



В родных гранитах, посреди высокомерных
По набережной едущих дворцов,
Я встретил ваше нежное, неверное,
Невероятное лицо.
Так в старом пиджаке, с забытой сдачей
Из оборота вышедших монет,
Змеєю пестрою свернется пачка
Измятых сигарет.

Сама собою вспыхнет зажигалка
Огнем сухим и молодым,
И легкие, как храм теплом хорала,
Заполнит дым.

Лодка

Дыша, как жабрами, бортами,
По влаге медленной скользя,
Укрыта влажными цветами,
Стремясь туда, куда нельзя.
Необъяснимая — без весел,
Не подчиненная рулю,
Через рассеянную осень,
Держась на тоненьком «люблю»,
Настояна на честном слове,
На теплой елочной крови,
На болью вытканной основе.
Плыви.

